Натали Стрит

О ЧЁМ МОЛЧАЛ СТАРЫЙ ЧЕМОДАН



Семейный роман
с метафизической оптикой

Натали Спирит

О чем молчал старый чемодан

«Автор»
2026

Спирит Н.

О чем молчал старый чемодан / Н. Спирит — «Автор», 2026

Письма пролежали в старом чемодане сорок пять лет. Мария двенадцать лет знает, что у отца есть вторая дочь, и только теперь решается узнать, о чём он молчал.Весна 1979 года, больница в Калининграде. Врач Геннадий, жена и две дочери дома, и Анна, которая только что ушла от мужа. Между ними вспыхивает узнавание, которое никто не может объяснить. А потом Анне начинают сниться сны о 1945 годе.Это роман о том, что остаётся после измены. Три женщины, три правды, и ни одна не главная.Если ты привыкла делить людей на правых и виноватых, читай: тебе будет с кем поспорить. Если когда-нибудь любила того, с кем нельзя было быть вместе, держи рядом платок.Была ли у этой истории прошлая жизнь, или дочь придумала её, чтобы простить отца? Решать тебе. Относись к книге как к калейдоскопу: покрути, посмотри на свет, найди свой узор.И береги свои чемоданы с письмами.

© Спирит Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. ЧЕМОДАН 6
ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ ПИСЬМО 8
ГЛАВА 3. АННА 10
ГЛАВА 4. ГЕНА 12
ГЛАВА 5. МАРИЯ 14
ГЛАВА 6. ПОЛУСТАНОК 16
ГЛАВА 7. РАЗЪЕЗД 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Натали Спирит
О чем молчал старый чемодан

Семейный роман с метафизической оптикой

Привет. Я помню тебя.

Давай сыграем в жизнь ещё раз

ГЛАВА 1. ЧЕМОДАН

Чемодан лежал под жёлтым диваном больше двадцати лет, и Мария как-то умудрялась не помнить о нём каждый день.

Диван с годами выцвел, на обивке проступили бурые пятна, а чемодан привык к темноте и пыли. Прежде он долго кочевал вместе с хозяевами из города в город, но под этим диваном осел и, кажется, смирился.

Он был небольшой, плотный, пропитанный пылью десятилетий и чужими разговорами.

Рисунок у него был необычный: глубокий чёрный фон и белые черепаховые пятна, как редкие вспышки света на тёмной, застывшей воде. Молния не обходила корпус по привычной линии, а срезала верхний угол. Расстегнёшь её — и лаковый угол послушно откидывается, открывая чёткий, жёсткий треугольник.

Треугольники человеческих судеб — пожалуй, самые острые углы на пути к покою. Они возникают внезапно, ломают привычные линии, лишают сна и не оставляют места простым ответам.

Мария знала про этот чемодан всю жизнь, как знают про шкаф, который никогда не открывают. А в сорок три года она узнала про сестру. Эти два знания двенадцать лет жили в ней порознь, как соседи по коммуналке: здороваются в коридоре и друг к другу не заходят. Но в тот вечер она села на пол, придвинулась к дивану и вытащила чемодан за ручку.

С тихим треском молния пошла по контуру. Из чемоданной темноты поднялся запах: сухой, чуть аптечный, с нотами старой бумаги, клея для марок и чужой, давно запечатанной страсти.

Внутри лежала стопка писем, перевязанная ленточкой.

Мария смотрела на них и думала о маме. Почему женщина, прошедшая через годы быта, разлуки и семейных трещин, не выбросила эту бумагу? Не сожгла? Не вычеркнула из памяти те месяцы, когда мир пошатнулся?

Наверное, потому что в этих простых строчках — о жизни командировочного врача, о дежурствах, о гостинцах для дочек — жила её собственная правда. Для неё эти письма были доказательством:

«Он был моим мужем.

Он скучал по нам.

Мы были его домом».

Это был её способ удержать ускользающий мир семейного счастья.

Мама так и ушла из жизни, ничего не узнав о другой девочке, родившейся после той командировки. Мария узнала. А письма открыла только сейчас, в пятьдесят пять, спустя сорок пять лет.

Она вглядывалась в ровный, размашистый почерк отца, выводивший строки о сапожках для неё и о скучных лекциях, и не могла понять: как?

Как человек способен носить в себе такую тайну и не выдать её ни словом, ни намёком? Как он сумел сохранить дом и ни разу не выдать себя?

И почему чемодан берегли все эти годы, перевозя из города в город? В багаже кочевников каждое место на счету. Но этот чемодан почему-то ехал всегда.

Откуда у отца этот чемодан, она знала: купил в магазине, как покупали тогда все. Чемоданов с молнией в семидесятые хватало — их доставали, дарили, ими менялись. Но другого такого, с чёрным лаком и срезанным углом, она не встречала ни разу.

Мария села на край дивана. Диван скрипнул так, как скрипит старая мебель, когда ей что-то известно.

Она коснулась стопки и развязала ленточку. Ленточка — узкая, от какой-то конфетной коробки — выцвела до цвета чая и поддалась сразу, будто только того и ждала.

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Бумага первого письма чуть пожелтела по краям. Синяя паста шариковой ручки выцвела от времени до тёмно-серого.

Конверт с гашёной маркой и простым синим штампом, на котором ещё читается январская дата. Почерк ровный, размашистый, мужской. Ни метафор, ни лишних слов — только сухой, сдержанный быт человека, привыкшего писать кратко, как в истории болезни.

«Дорогая Галочка.

Приехал, устроился в общежитие.

Поселили вдвоём с доктором из области. Он любит вечерком хряпнуть рюмочку. Хряпнули за знакомство.

Начинаю учёбу, сам корпус недалеко от общежития. Посещаю лекции на кафедре оториноларингологии, пока идут общие темы — соцгигиена, организация здравоохранения, не очень интересно. Параллельно закрепили за ЛОР-отделением, со вчерашнего дня начал курацию больных и дежурства.

Обнимай девочек.

Уже скучаю, твой Гена».

Мария поймала себя на том, что ищет в письме хоть что-нибудь про любовь. Нашла только про рюмочку.

Она отложила листок на край стола.

За этими простыми строчками — о хряпнутой рюмке, о кафедре, о курации больных — не было и намёка на то, что случится дальше. Обычное письмо заботливого мужа и отца, выполнившего свой долг: отписаться, что добрался, сыт и обут.

Таких писем будет много. Целая стопка. Все похожи. Добрался, устроился, сыт, здоров. Обнимаю девочек.

Так будет до апреля. Тогда он перестанет писать о главном.

Шёл обычный апрельский день. В отделении пахло фенолом, сухим марлевым бинтом и стерилизованными стеклянными шприцами. Вдоль длинного коридора, выкрашенного до половины синей масляной краской, стояли кушетки. Палаты были переполнены, и новых больных клали прямо у дежурного поста, на сквозняке.

Гена шёл мимо быстрым шагом врача, привыкшего к виду чужой боли, с папкой и стеклянным лотком в руках. Скользил взглядом по кушеткам, не ожидая встретить среди больничной серости ничего особенного.

И вдруг остановился.

На крайней кушетке под тяжёлым байковым одеялом в синюю клетку лежала женщина. Ей только что сделали пункцию гайморовой пазухи. Тугие марлевые турунды распирали нос, тупая пульсирующая боль давила на переносицу и отдавала в виски. От вынужденного дыхания ртом губы пересохли и шелушились тонкой корочкой.

В такую минуту любой человек выглядит беспомощным, скомканным, раздавленным болезнью. Но она была другой.

Даже в больничном фланелевом халате, с тёмными волосами, разметавшимися по белой подушке, в ней проступала редкая, породистая, строгая красота. Красота, которую не могли испортить ни больничная кушетка, ни перевязочный материал.

Ее тёмные, глубокие глаза были открыты; под ними залегли тени усталости и боли. Ни слёз, ни жалости к себе. Только тихое, гордое страдание.

Гена не смог пройти мимо. Он замедлил шаг, наклонился и тихо спросил:

— Что, сильно больно?

Она медленно подняла на него взгляд.

— Очень, — ответила она.

На краткий миг их взгляды встретились. Длилось это долю секунды, но мир едва ощутимо дрогнул — так вздрагивает вагон, когда состав трогается с места.

Это не было вспышкой страсти. Это было узнавание, от которого перехватило дыхание, — как если бы он вошёл в комнату, где никогда не бывал, и вдруг понял, где в ней стоит стул.

Гена молча развернулся, быстро дошёл до процедурного кабинета и вернулся с обезболивающим. Лечащим врачом он ей не был, но укол сделал сам — и снял первую, самую острую волну боли.

Потом пошёл дальше по коридору, но её взгляд остался с ним. Навсегда.

ГЛАВА 3. АННА

Анна была главным бухгалтером и умела две вещи: сводить баланс и входить в комнату так, чтобы на неё оборачивались. Она знала себе цену, и цену эту никто не пытался оспорить: умная, красивая, правильная до кончиков ногтей. Своей красоты она не стеснялась и не расточала: относилась к ней как к капиталу, вложенному надёжно. Ей нравилось руководить. В отделе её слушались и немного побаивались, а она знала, что любое расхождение можно найти и исправить, и не любила ситуаций, где этого сделать нельзя.

Ей нравилось, когда на неё смотрят. Она не призналась бы в этом даже себе, но платье на любое собрание выбирала так, чтобы потом о нём говорили.

Анна была замужем тринадцать лет. Снаружи — образцовая советская семья.

— Он ведь хороший был, — скажет она потом. — Работящий, руки золотые. И любил меня очень…

Муж берёг её. Доставал дефицит, дарил драгоценности. Была лишь одна мелочь, по тем трудным временам совсем пустяковая: за все тринадцать лет он не подарил ей цветов. Ни разу.

От этой мелочи у Анны иногда странно сжималось сердце, особенно при виде бордовых роз в чужих руках. Откуда эта печаль, она не знала.

Дом их был полной чашей, но над ним висела тишина пустой детской комнаты. Детей им Бог не давал. В то пуританское время о таком интеллигентные люди не говорили. Шептались разве что старушки у подъезда. Советская медицина, разводя руками, поставила короткий диагноз: несовместимость.

Анна с мужем с вердиктом не согласились: в остальном ведь всё было прекрасно. И началась их тайная борьба — доказать врачам обратное. В стране, где о сексе вслух почти не говорили, они перепробовали всё: замысловатые позы из запретных книг, врачебные графики, народные рецепты и даже тайные визиты к гадалкам. Месяц за месяцем — и снова ничего.

Анну терзали мысли: «За что? Почему именно я? Что я делаю не так?»

Умом она понимала, что молода и красива, что по ней вздыхали многие мужчины. На любом курорте ничего не стоило завести случайный роман, забеременеть от красивого незнакомца и промолчать… Муж принял бы это за долгожданное чудо.

Но внутренний стержень и воспитание не позволяли Анне пойти на обман. Ей нужен был не просто ребёнок любой ценой, а настоящая семья. Женщина тайно размышляла: а может, стоит освободить мужа? Быть может, с другой женщиной он тоже станет отцом. А она встретит свободного мужчину и родит детей в любви и честности.

Ей было тридцать четыре. В женских консультациях уже двадцатипятилетним на карточках штамповали сухое «старородящая», а у её жизни биологические часы не просто тикали, а били уже во все колокола. Каждый месяц рядом с пустой детской был роскошью, которой у неё не осталось.

Тогда перед ней встал выбор, как на весах. На одной чаше — привычная, сытая жизнь с любящим мужем, но без единого шанса услышать детский смех. На другой — уход в никуда.

Решение было принято давно, в те долгие вечера, когда она сидела на кухне с остывшим чаем и сводила, как ведомость, всё, что у неё было, и всё, чего не было. К тому дню, когда она собрала сумку, разговор уже состоялся, все слова были сказаны, всё обговорено. Закрытую дверь не нужно было закрывать второй раз, и на душе было ровно, без слёз и суеты, как бывает перед дальней дорогой, когда всё уложено.

Она не хлопала дверью и не оглядывалась. Муж донёс сумку до лестничной площадки и спрятал руки в карманы, будто не знал, что с ними делать. Руки у него были золотые, всё в доме держалось на них. Анна посмотрела на них и вдруг поняла, что смотрит как на чужие.

— Спасибо тебе за всё хорошее, что было между нами, — сказала она.

Он кивнул.

Ей было даже немного странно, до чего всё просто. Она ушла, не покривив душой, и сразу после расставания, прямо на пороге новой жизни, слегла с изматывающим острым гайморитом. Больница, коридор, кушетка.

На сквозняке…

ГЛАВА 4. ГЕНА

У каждого мужчины есть свой ритм жизни, устоявшийся быт и понятные координаты мира. Геннадий верил в анатомию, латынь и клинические диагнозы. Он был советским врачом-материалистом, убеждённым, что человек — это чёткий биологический механизм, а жизнь подчиняется распорядку, труду и законам физики. Всё под контролем, всё измеримо и предсказуемо.

Геннадий был единственным отоларингологом на всю больницу районного центра. А значит, его знал весь город. К нему шли все: от доярок с отитами до продавщиц с вечными ангинами. Они помнили добро и при случае доставали для доктора из-под полы редкую обувь или книгу.

Зарабатывал он немного, но умел быть щедрым. Гена любил дарить женщинам цветы и своей Галочке носил букеты без повода. Он вообще был из тех мужчин, на которых оборачиваются: высокий, стройный, с серо-голубыми глазами, удивительно напоминающий молодого Вячеслава Тихонова — Штирлица. А когда на праздниках он брал в руки аккордеон, устоять перед его обаянием было невозможно. Ещё он умел, прищурившись, рассказывать анекдоты, меняя голоса так, что вся ординаторская просила повторить.

Но главное — он был врачом с большой буквы, как говорили в городе. Он принимал, пока в коридоре оставался хоть один человек, и никто не слышал от него слов «приём окончен». Пациенты шептались, что у него «невесомые пальцы», а дети затихали под его уверенным взглядом.

С Галочкой они учились в одной школе. В старших классах она была самой смелой девчонкой — озорной, весёлой, с таким заразительным смехом, что весь класс начинал смеяться вслед за ней, ещё не понимая, почему. Школьная дружба переросла в любовь, любовь — во взрослую дружбу. Они вместе поступили в медицинский, вместе вернулись работать в единственную больницу города и были там самой заметной парой: она пела, он играл, и в ординаторской на минуту замолкали разговоры.

Гена любил её за это: за озорство, за артистизм, за то, что рядом с ней любая скучная пятница превращалась в праздник. Сама она красавцем в их паре считала его, а себя — «так, хорошей», и смотрела на мужа влюблённо, даже когда смех стал тише.

Потом пошли дети. Роды, особенно вторые, будто притушили в ней что-то: она стала тише и домашнее. Младшая была совсем маленькой, Галочка сидела с ней в декрете, и больница осталась за порогом. Страсть ушла незаметно, без ссор и сцен. Букеты становились всё реже. Осталась привычка, тёплая и надёжная, и жизнь пошла по течению: две девочки, квартира, машина, дежурства.

Когда пришло направление на курсы в областной центр, Гена обрадовался и сам себе в этом не признался. Четыре месяца — срок долгий. Позвонить было почти невозможно: разговоры заказывали заранее, а у общежития вечно стояла очередь к автомату. Оставались письма. Для него это было время, когда можно побыть наедине с самим собой. Семья никуда не денется: она есть так же надёжно, как светит солнце и растёт трава. Об этом не думают.

Чемодан он купил давно, в обычном магазине, где таких на полках стояла сотня: чёрных, коричневых, с одинаковыми блестящими замками. Он не выбирал, не примерял, не сравнивал цены. Рука сама потянулась к этому, с белыми пятнами на чёрном лаке и молнией, срезающей угол. Продавщица удивилась: «Странный какой-то». Он пожал плечами и сказал: «Мне нравится».

Собираясь в дорогу, он открыл чемодан с черепаховым рисунком. Гена отличался аптекарской аккуратностью: всё лежало на своих местах, ровно и чисто. Ехал он за документом и

за возможностью ненадолго вырваться из быта, чувствуя себя свободным, но оставаясь верным мужем.

Он застегнул молнию, срезавшую верхний угол чемодана, поправил галстук и посмотрел на часы. Он ещё не знал, что встретит её на больничной кушетке, на сквозняке… Зато знал другое и не признавался в этом даже себе: ехал он не только за документом.

ГЛАВА 5. МАРИЯ

Мария аккуратно сложила первые письма обратно в стопку.

Читая эти ровные, размашистые строчки о непритязательном общежитском быте, она пыталась представить отца. Молодой, красивый, уверенный в себе доктор. Человек, для которого мир в те годы казался предельно чётким и понятным, как анатомический атлас.

В этих конвертах не было фальши. Он действительно скучал по дому, любил Галочку и берёг дочек. И одновременно с этим — именно в те дни — его жизнь раскололась.

Как уживаются в одном человеке два искренних чувства?

К отцу она и сама относилась двойственно и давно перестала пытаться примирить в себе нежность и обиду.

Нежность возникала, когда она вспоминала, как болела в детстве: отец всегда был рядом. Однажды, ещё школьницей, её положили в областную больницу на тяжёлую операцию, и лежать там предстояло почти месяц. Родителей в палаты не пускали. Не помогали ни деньги, ни коньяк, ни уговоры. Тогда отец — врач, красавец, любимец женщин, привыкший, что перед ним открываются двери — устроился в ту же больницу санитаром и целый месяц мыл полы в палатах, чтобы просто быть рядом. Ни статус, ни самолюбие ему не мешали. А ещё он прекрасно ставил уколы. Если укол делала мама, было больно, а если отец, Мария даже не замечала иглы. Всё, что он делал руками, как врач и как отец, получалось у него лучше, чем у других.

Обида приходила, когда она думала о другой девочке: ей тоже полагались эти руки, а их не досталось. В те самые недели, когда отец мыл полы в больнице, где-то далеко уже росла та девочка, совсем маленькая. И вместе с обидой поднималась вина. Марии досталось то, чего сестра не знала, и это было так ценно, что стоило очень дорого.

Мария знала про свою младшую сестру, рождённую в другом городе через девять месяцев после той командировки. Знала с сорока трёх лет и до сих пор не понимала, что об этом думать. Злость то приходила, то отступала, оставляя растерянность. Она смотрела на эти бумаги без детской требовательности, не искала сухих оправданий и не спешила осуждать.

Маму берегли все. Отец ни разу не проговорился, а Мария ничего не знала. Тайну сохраняли, пока мамина роль в этой жизни не была сыграна до конца. Отец признался только после её ухода, и то по настойчивой просьбе дочери, родившейся у Анны. С детства она знала об отце, его семье и двух старших сёстрах — мать ничего от неё не скрывала.

Мария отложила письмо. В синей пасте отца — только сухой быт. Но рука её сама потянулась к следующему конверту, а пальцы сжали его сильнее, чем нужно.

В тишине комнаты, среди аптечного запаха старых конвертов, ей вдруг почудился совсем другой звук.

Мария знала, как это бывает. Лет с двадцати к ней изредка приходили такие картинки — коротко, на границе сна, никогда не складываясь в связный рассказ. Правила она выучила давно. Картинки приходят не по порядку и не поодиночке, а наплывают одна на другую, как два снимка на одной плёнке. В одном кадре — лето, в другом — снег, и оба настоящие. Сквозь чужой перрон просвечивает то, чего она боялась, и то, чего ей хотелось, и вписано это в кадр наравне с тем, что было. Друг другу они не мешают. Искать в них документ бесполезно.

Близким Мария об этом никогда не рассказывала. Не из страха, просто рассказывать было нечего. Она жила обычной жизнью и не считала, что с ней что-то не так. Относилась к этому так, как относятся к снам про дом, которого никогда не было: удивительно, но не опасно.

Не гнаться, не уточнять, не подгонять. Дать картинке проявиться самой.

Вот и сейчас всё происходило так. Картинки пошли. Сначала звук: дальний стук паровозных колёс. Потом запах: угольная гарь узлового разъезда. Потом чьи-то руки — обветрен-

ные, влажные, держащие дужку оцинкованного ведра. Красный крест на косынке. Чемодан с черепаховым рисунком, стоящий на щебне. Они проносились без порядка и не спрашивали разрешения.

Они были без слов. Ни диалогов, ни имён, ни дат. Слова приходили потом, когда она бралась за блокнот, лежавший рядом на диване. Картинку надо проявить, как плёнку, а проявляя, всегда что-то достраиваешь сама. Мария давно знала за собой эту привычку и не считала её обманом.

ГЛАВА 6. ПОЛУСТАНОК

Май сорок пятого дышал сыростью и запахом оттаявшей земли, смешанной с углём. На безымянном полустанке эшелон стоял уже третий час. Паровозы тяжело, со всхлипом стравливали пар, и серый туман оседал мелкими каплями на замасленных боках вагонов.

Молоденький солдат пробирался сквозь толпу по дощатому настилу. В одной руке он сжимал котелок с остывающей кашей, в другой — тяжёлый чемодан. Среди сундуков, мешков и обгорелых ящиков этот чемодан казался диковинкой. Небольшой, плотный, с чётким черепаховым рисунком — белые пятна на чёрном лаке — и, самое необычное, на молнии.

— Эй, земляк, не зацепи! — окликнул его кряжистый сержант в шинели с прожжённым подолом, сидевший на снарядном ящике.

Сержант скручивал козью ножку, ловко насыпая махорку на газетный обрывок.

— Ты куда с таким сундуком наперевес? Из музея, что ли, прихватил?

Солдат остановился, поставил чемодан на влажные доски и отёр лоб рукавом гимнастёрки.

— Трофей. Немецкий, медицинский, — сказал он просто, вытирая испачканные мазутом пальцы. — Просили довезти до штаба. Там инструмент. Чистый.

— А-а, медик… — сержант прищурился, затянулся сизым дымком и мотнул головой в сторону паровоза. — То-то я смотрю, щегольской. С таким только в дачный поезд, к барышням.

— До барышень ещё доехать надо, — улыбнулся парень.

В кармане его гимнастёрки, под грубой шерстью, лежал плотно сложенный бумажный треугольник. Ему хотелось, чтобы он стал письмом, но пока он не придумал, кому писать.

— Доедем. — Сержант сплюнул на настил и протянул ему кисет. — Звать-то как, медик?

— Николай.

— Ну, Николай, на, затянись. Победу ждём, а эшелон всё мурыжат. Говорят, впереди пути разобраны…

— Спасибо, не курю, — качнул головой солдат.

Он наклонился за чемоданом. Молния, срезавшая верхний угол, была плотно застёгнута. Но стоило Коле взяться за кожаную ручку, как над их головами на секунду стих весь гул станции: и стук молотков по колёсам, и крики зазывал, и шипение пара.

Наступила звонкая, плотная тишина.

И в этой тишине Коле вдруг показалось, что кто-то по-детски коснулся его затылка. И тут же пришло знание, точное и не требующее доказательств:

Рано… Ещё нельзя. Всё только начинается.

— Ты чего застыл, медик? — Голос сержанта вернул его на настил. — Гудит! Пошли, без нас уйдёт.

— Бегу! — откликнулся Коля и рванул.

Паровоз загудел, пыхнул паром, выбрасывая в сырое майское небо густые сизые клубы. Составы вздрогнули, буфера ударились друг о друга с глухим, раскатистым эхом.

Коля на бегу подхватил чемодан, едва не сбив зазевавшегося путейца, и вместе с сержантом запрыгнул на широкую подножку открытой теплушки.

Состав набирал ход.

Коля перевёл дыхание, крепче сжал потёртую кожаную ручку и оглянулся на уходящий назад полустанок.

Впереди была неизвестность, но внутри горело всё то же знание, точное и не требующее доказательств: жизнь только начинается.

ГЛАВА 7. РАЗЪЕЗД

Эшелоны встали борт к борту на безымянном узловом разъезде. Справа стоял санитарный состав с красными крестами на тускло-зелёных вагонах, уходивший на восток, в глубокий тыл. Слева — эшелон Коли, шедший в противоположную сторону, на запад. Между ними оставалась узкая, затенённая полоса щебня, пропитанная запахом угольной гари и сырых шпал.

— Десять минут стоянки! — прокричал где-то впереди зычный голос дежурного по эшелону. — За пути не выходить!

Коля спрыгнул с подножки, чтобы размять ноги и глотнуть воздуха. Чемодан с медикаментами он держал при себе — на фронте привыкаешь не оставлять вещи без присмотра.

И в этот момент дверь противоположного санитарного вагона с грохотом отошла в сторону. На подножку вышла девушка в белом помятом халате поверх гимнастёрки, в накрахмаленной косынке с красным крестом. В руках она держала оцинкованное ведро.

Девушка оступилась на скользкой ступеньке, едва не выронив его, и опёрлась рукой о стенку вагона. Коля шагнул вперёд и подхватил ведро за дужку:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.